

# Строго

## Тринадцать тихих записей на войне

*Жизнь и смерть. — 1998. — август. — (№ 31). — С. 14-75.*

### От автора

“ЭС” уже щедро публиковала страницы моей книги “Строго как попало” (№ 31, № 49 — 1997, № 1, № 22 — 1998). Это книга беспорядочных записей о жизни. Природа великодушна: сделала жизнь конечной, она, однако, не назначила ей точного предела. И книга моя будет писаться, пока пишется. Но у нее, нескончаемой, было начало.

Три года назад — в 1995-м — мне посчастливилось нечаянно напечататься в странном издании — в “Рекламной библиотечке поэзии”. Она выпускалась к 50-летию Победы. Безгнорарное издание тоненькой — семь страничек! — книжицы было подарком автору-фронтовому. Мне вручен был весь ее тиражик — для одаривания ближних. Не для “сбыта”. Так те семь страничек остались, в сущности, авторской рукописью произвольно выбранных текстов из неопубликованной тетради фронтовых заметок.

Тогда-то и подумалось впервые, что с этих “Тихих записей” может стартовать бессюжетная как-сама жизнь книга “Строго как попало”. Потому что для моего поколения в те военные годы началось истинное взросление души. Вот этот старт.



**Даниил Данин — студент Московского университета — был белобилетником, освобожденным от призыва. В июне 41-го он ушел на фронт добровольцем в составе 8-й дивизии Народного ополчения Москвы. Начав войну солдатом, окончил ее капитаном. Кавалер трех боевых орденов и десяти военных медалей.**

### 1. Неурочная красота

На Сандомирском плацдарме за Вислой — осенняя тишина. Молчаливые дни долгой томительной обороны. В черном обнаженном лесу, возле высоких сосен — странные болезненно-зеленые лужайки тонкой травы. Молодая поросль, полная нежной свежести и чистоты.

Связной, старый солдат, задумчиво отвечает:

— Рожь проросла.

И не ожидая дальнейших расспросов и радуясь минутному отдохновению, продолжает:

— В последние бои тут лошадей кормили. Промо рожью кормили. Другого-то ничего под рукой не нашлось. А немцы, чисто черти какие, все по лесу швыряли — жжик, жжик. Ну лошади, известно, не мы грешные, трудно им к такой жизни привыкнуть, они и пугались. Тут округ ржи этой видимо-невидимо насыпано. Метнется лошак — фунт посеем. По всему лесу так. В этих местах проросла — потому у дороги. А в других — завалило, поглохла. Озимая это.

Офицер слушал, думая о совсем других вещах. А старый солдат, по обычаю и по какому-то пленительному складу души всех поживших на свете добрых людей, давно уже оставил нить случая и говорил о другом:

— Чудные дела в мире, товарищ капитан! А я вам что скажу... Подо Львовом-то, должно, помните, ужас сколько маку дикого было. Прямо полоски целные — по гектару, а то и поболее. Так, знаете, чего промез местных говорили о маке этом? А то говорили, что земля кровью пропиталась — вот мак и пошел на сто верст округ. Раньше, говорят, такого не бывало. Чудные дела.

Офицер хотел спросить старика, правда ли это — “про мак”, или только легенда. Но он побоялся скрытой намешки старого солдата, внутреннее превосходство которого он уже ощутил. Кроме того, он вспомнил, что эта же мысль о земле, напоенной кровью, приходила в голову и ему, и его друзьям, когда на холмистых равнинах между Тернополем и Львовом открывались нашему взгляду огромные горящие кровавые поля сплошного дикого мака.

### 2. Упоение доброй силой

— Я знай в Сибири двух братьев: Ивана Алексеевича Петрова и Иннокентия

Алексеевича Петрова. Они вдвоем съедали бочонок бараньих почек.

Инженер-капитан Кайгородов говорит, болтая волосатой ногой в тазу с кипятком. Минутное молчание. Слышно только, как, переваривая бочонок бараньих почек, хлещет себя мокрыми ладонями по голым груди сосед Кайгородова. Но потом голые офицеры в бане начинают сквозь духоту и пар врать наперебой. Бараньи почки открыли ворота.

— А у нас в Полесье был мужчина. Так он увяз однажды с лошадей в грязи. Ни туда, ни сюда. Так он распряг телегу и лошадей отвел в сторону. Так он сам подхватил оглобли и вывел телегу на сухоту. И говорит лошади — “милая, как же тебе вытянуть, когда я сам еле вытянул”. Так он... — Эх што! А вот у нас под Николаевом лесов вету. Каждая дуб — на счету золота. И вот, значит, случай был. Пархоимой — первой силач — пришел в районный центр, а там дом складает. Видит, огромнейшая бревна лежит. Он — хозяину: “Давай, говори, спорить — если на спину положу да снесу до большака, моя бревна будет; нет — твоя моя поддевалка!” А хозяин с жадностью возьми и согласился. Так што ж! Пархоимой поднял, пошел, пошел, да и унес. Хозяин прямо в плач, да поздно.

Инженер-капитан, пустивший первый шар, пускает последний. Перебивая всех, он говорит так, будто все время продолжал рассказ про Петровых — чудесных братьев — и теперь, наконец, добрался к концу:

— Покойный Иван Алексеевич в Бийске на базаре отдавал свою буланку одной бабе за то, что она досыта накормит его пельменями. Но баба не согласилась: Петрова все знали, он уж не одну торговку по миру пускал.

Пар и духота становятся все плотнее. Офицерами овладевают равнодушие и вялость. Вранье затихает. Голые понемножку одеваются, куда не торопясь — оборона! — и нехотя тихо переговариваются о скучных земных делах. А над баней гудит надоевший “костыль” — немецкий разведчик, чующий в тишине плацдарма нарастающую беду.

### 3. “Они устали!”

На окраине Ченстохова ватага пьяных солдат без оружия ночью врывается в польский дом. Без памяти бросаются спать где придется. Один валится на кровать. Хозяин отодвигается к стенке, потом осторожно перелезает через мертвецки покоящегося солдата. Стоит посреди комнаты, босой, в трясущихся кальсонах. До волосатой груди снизу освещает его тусклый ночник. Душный храп. Чьи-то из угла пьяные слезы. Хозяин различает в дверях фигуру офицера. Он давно уже молча стоит там.

— Пан офицер, то ваши жолнежи? — в голосе отчаяние и надежда.

— Нет.

— То едно, то едно! Помогите, пан офицер!

— А что они сделали вам? Они устали!

— Так, так! Но... — умоляющий голос, трясущиеся кальсоны. Поляк мечется среди спящих, будто чувствует беду, еще неясную, но неотвратимую, которая обязательно свалится на его голову.

Из угла глухой голос: — Не мечись, гада. А наших не трожь. Хуже будет. Мы — “шура”! Офицер поднял ночник, и в одном из солдат, спавшем ничком на диване под олеографией розового сияющего Христа с пылающим развратным сердцем, он узнал того, о ком сегодня рассказывали, будто он безоружный задушил в немецком блиндаже немецкого полковника. У солдата было землистое лицо, нога в грязном сапоге немецкого кроля была нежно подвёрнута, как у спящего ребенка. Солдат открыл один глаз, вздохнул и хрипло сказал: — Убери свет, сволочь! Может быть, он не узнал офицера. Офицер успокоил хозяина, как мог, как умел. И вышел из дома на чистый влажный воздух теплой январской ночи.

Утром он узнал, что “шура” — штрафники. Утром дома горел, а “шуры” уже не было. Она ушла дальше, воевать Германию, смертью замаливая грехи.

### 4. Равное векам изумление

Они говорили: три офицера с артиллерийскими погонами, в ожидании генерала, который должен был вот-вот подъехать к дому, выбранному для него на время этой короткой дневки в песках правобережной Вислы.

— Дни и годы уходят даром. Эти месяцы войны изъять из жизни! — сказал один. Он сказал это с грустной категоричностью. И так как люди на войне легко соглашаются с печальными сентенциями, он совсем не ожидал возражений и поэтому, когда они зазвучали в страстном ответе второго, он выслушивал их молча, внимательно глядя в рот говорившему.

— Какой вздор! За годы войны мы узнали и еще узнаем все-все. Злой, счастье, родину, разлуку, ненависть, смелость, смерть, доброту, отчаяние, одиночество, власть, дисциплину, вдохновение, несвободу, порок, одержимость, горе, природу, границы, ностальгию, надежды, ожидания, беззаветность, нязность, честолюбие, измену, гордость, нищету, преданность, предательство, дружбу, презрение, грубость, ласки, безверие, терпение, страсть... все-все, чем богата жизнь, поставленная на острие меча и обнаженная, как рождающееся дитя. Эти годы стоят веков изумления!

Его пафос не поразил третьего.

— Но для чего все это нужно узнавать? — спросил третий.

Теперь первый начал смотреть в рот ему. Но третий замолчал. Влады показала генеральская машина, обдавшая грязью туземцев, селения в осенних пес-

ках. Второй растерялся от странного вопроса и собрался с мыслями только тогда, когда уже некому было его слушать.

### 5. Две реплики в тишине

Фронтовые девушки занимают трогательным самонаблюдением.

— Знаешь, я уже давно научилась причешь волосы на ощупь.

### 6. В ночном одиночестве

С того берега реки раздается тихий свист. Потом слышно, как расплескивают воду босые ноги девушки. Скинув сапожки, она идет к своей любви. Она идет по воде, чтобы ее не увидели на мостике. Звук тихийшащий шагов ее в беспечальной августовской ночи принадлежит самой природе. А потом слышны тяжелые уверенные шаги по доскам мостика. Скрипят утлые перила. Стонет маленькая пристань для одинокой лодочки. Это с того берега бесстрашно идет к своей любви, к другой девушке, к “девушке для всех”, очередной кот в сапогах.

В вечернем лагере санроты, в прибрежной роше на безымянной речушке, иных звуков нет. Видна освещенная дверь машины командира. Там сидит он, один, в ночной сорочке за пустым столом. И прислушивается, глядя во тьму. Он неудачник в любовных делах. И каждый вечер это плесканье воды в ответ на свист с того берега, и эти тяжелые шаги на мостике, и это томление летней ночи, наступающей быстро и длаящейся, длаящейся без предела, отдаются тоской и завистливым раздражением в его груди. Это ревность к жизни, к молодой беззаботности, к исполнению чужих желаний, одолеваящих и его. Здесь кончается его командирская власть и начинается жизнь, которая по совсем иным законам избирает своих героев и свои жертвы.

Командир захлопывает дверь. Сквозь занавеску из крашеной марли пробивается свет. Он не гаснет с утра. Что он делает там, несчастливый начальник, в своей одинокой клетке?

### 7. Чепухистика прозелита

Повара Сережу принимают на партбюро в кандидаты партии. Он рассказывает свою биографию, держа руки по швам.

— Год рождения — одна тысяча девятьсот пятнадцатого года. Четыре класса учился. Потом, значит, малость отгуливался. С одна тысяча двадцать девятого по одна тысяча тридцать первый это... гулевал, потому по молодости. Ну а потом врад до работы пошедший поваром. Служил сначала в дивизионе, а потом, как он, значит, зачал в полк становиться и отдельным полком стал, я обратно поваром. Мы тогда сами собой, значит, командовали. А потом я обратно поваром, как мы дивизи-

# как попало

ею стали. Ну, началось то, се, пятое-десятое, а потом я в техзащитном поваром, потому беспрерывно подполковником и ихнего женой обожаем был. Где и верностию пока, значит, служу здесь.

Он застенчиво улыбается, говорит нехотя, будто хочется ему сказать: “Чего ж тебе до меня рассказывать!” Все слушают Сережу с видимым вниманием и в конце рассказа не имеют ни одного вопроса к новому прозелиту.

### 8. Голос войны

— Я только что убил его. Из твоего пистолета, капитан. Прикажи, чтоб почистили, а то раковины образуются.

### 9. Олень на стене

Сидя в доме одного из двенадцати лесников Радзивилла, лицом к стеновому ковру, он бормотал про себя: “Я похож на оленя, вон на той стеной вышивке; как он, я бегу в глубину странной чужой страны лесистых холмов, неестественно и печально повернув голову к покидаемым местам...” Он любил думать о себе невесело и красиво.

### 10. Так легко утолить жажду

Кулачок на кулачок, подбородок сверху, и затуманенный взгляд широко раскрытых глаз маленькой девочки, прильнувшей к подоконнику.

Мимо проходят чужие войска, летят в пыли тяжелые чужие машины. Цветы и кусты в палисаднике обветшали, ожесточились от пыли. Вот уже два месяца подряд оседает она на них. А может быть — два года подряд. Враждебная недетская жизнь вокруг. Аист улетел, и скворешня пуста.

Вот уже четверть часа сидит на скамеечке у забора русский офицер. Пропыленная, выгоревшая на солнце фигура. Его мучат тоска и жажда.

Так легко утолить жажду!

— Пана, прошу скленицу воды.

Его голос приходит к ней издалека, смешанный с грохотом и туманными, будто в лесу, криками на фронтовой дороге. Он поднялся и стоит у калитки. А там — все также кулачок на кулачок, и подбородок сверху, и взгляд боязливый и пристальный.

— Пана — скленицу воды! Он слышит, как отчужденно звучит это томящее, ночное, взрослое — “пана”. Но офицер не знает, как по-польски “девочка”. И снова он повторяет:

— Пана... Торопливое лепетание босых ног по песку. Голос из-за калитки. Прямо вытянута тоненькая рука с громадной кружкой. Опасение и настороженность в откиннутой назад фигурке. Теперь они рядом — широко раскрытые глаза, по-детски недоверчивые, но прекрасные и ждущие.

Белесые клубы песчаной пыли обволакивают палисадник. Офицер долго пьет. Глаза поверх кружки блаженно закрыты. Когда офицер открывает их — пыли нет. Обхватив ручонками две планки калитки и просунув личико в пространство между ними, девочка смотрит, улыбаясь, на офицера. Чем-то он развесялил ее.

— Спасибо, девочка!

— Прошу, — отвечает она.

Он наклоняется к ней и прикасается губами к пыльному лобку. С дороги до него доносится издавна знакомый хриплый голос:

— Эй, капитан! Не лапай девочку! Он перепрыгивает кувет. С подножки машины машет рукой. Девочка, маленькая, красивая и чужая, стоит у калитки с белой кружкой в руке.

### 11. “Карманы моего отца”

— Мой отец был очень жадный человек! — рассказывает сержант Бунчик, еврейский мальчик из Винницы. — У него всегда были набиты карманы вещами. У него там бывали яблоки и сливы, подошвы оторвавшиеся и рыбацкие крошки, грязные платки для носа и старые медные деньги. Ей-богу, когда нигде уже нельзя было найти медного пятак — помытые, их совсем заменили этой бронзой — так у него эти медные пятки были. И вот яблоки. Они гнили в карманах отца, но чтоб он дал их нам, так об этом не могло быть и речи. А кормила нас мама, потому что она имела счастье раба-богат в столовой. Что вы думаете?

Они двадцать лет жили и не любили — ни он ее, ни она его. А перед войной, просто-таки в последний день, они взяли и разошлись. Мы тогда жили не в

Виннице — в Биробиджане. Так отец взял свои карманы и уехал в Винницу, назад. Больше у него ничего не было — одни карманы. Он, наверное, въехал прямо к этим немцам. Когда он ехал по дороге, началась война. Но чтоб повернуть обратно, это он не мог — он всем всегда говорил: “У меня есть характер!” А мама всегда говорила: “Лучше бы у тебя были деньги!”. Так он был тогда, наверное, один-единственный человек, который ехал не на Восток, а на Запад. Даже мы — солдаты — ехали тогда ему навстречу. Но мы ехали, так мы знали, что будем возвращаться, а он ехал навсегда. Что вы спрашиваете, что с ним? Эти арийцы убивали просто евреев, а еврея с характером они, наверное, убили сразу. А мама жива. И теперь пишет, что любила бедного папу, когда я знаю, что она не любила его. И она мне говорит, чтобы я поехал в Винницу — может быть, неслыханным чудом отец улетел. Мама пишет, что отец всегда говорил: “С жидом евреем бываете когда-нибудь чуно!” Это он верил, что и у него будут и дом, и деньги, и великие дети. Что вы смеетесь? Он верил даже в меня, он хотел, чтобы я был в Одессе писателем, и послал меня учиться наборщиком. Как вы думаете — может быть, он все-таки жив? Я думаю, может быть, он все-таки нас любил? Я даже думаю, знаете что? Он знал, что мы опустошаем его знаменитые карманы. Он только не говорил нам, детям, что знает все. Я думаю, что он нарочно совал туда яблоки, и если они гнили, так это оттого, что мы ужасно боялись брать крупные предметы. Может быть, он хотел, чтобы мы стали смелыми и такими храбрыми, чтобы брали не только маленькую бронзу. Я даже вспомнил, как один раз у него там лежал апельсин и мы лезли в карман и смотрели на него, а он все желтел и подгнивал, и мы один раз его съели, а папа ничего не сказал. Может быть, может быть! После войны я поеду в Винницу, проверю информацию, напишу маме. Она ведь тоже любила папу — сама говорит. Никто про папу не знал плохое, так я думаю, про него могли и не донести немцам? А если немцы убили его — так они сто раз сволочи, они не могли знать про его карманы и про нас, детей. Не могли. Я не плачу, но я буду всю жизнь помнить им, всю жизнь! Вот увидите!

### 12. Бедняга-орденоносец

Подполковник носил ордена и медали, никогда их не снимая: четыре слева, четыре справа. Он был остроумным человеком и добрым начальником. Удовлетворенное на время тщеславие делало его смешным. Но он не замечал этого, и его невозможно было поймать на дурном расположении духа, потому что уже в самом начале беседы взгляд говорящего с ним соскальзывал с его лица и упирался в позолоченную многоцветную грудь; подполковник научился ждать и безошибочно ловить такие взгляды, и каждый раз они приводили его в отличное настроение. Ему нравилось, что всякий собеседник поглядывает на него, как на щедрую декорированную доступную красоту. Он сам нашел это сравнение и любил повторять его небрежным тоном, в котором смешивалась ирония над другими с ощущением своего очевидного превосходства.

Он ненавидел встречи с генералом на людях. Грудь генерала была всегда чиста, но все знали, как ослепительна могла бы быть она. В этой единственной ситуации он вдруг начинал ощущать себя смешным и, конечно, поэтому неизменно произносил притворно насмешливо и нарочито громко:

— Товарищ генерал, когда же, черт возьми, ванькинторг соизволит планочки привезти нам?

Генерал неизменно отмахивался, и подполковник мучался догадками, что думает о нем генерал. Но однажды, вернувшись из отпуска, генерал прислал ему с ординарцем полный набор разноцветных планок. Когда слегка дрожащей рукой

подполковник высыпал их на стол, мы одновременно увидели, как на его лице выступили серые и красные пятна, и услышали, как ординарец сказал:

— Генерал просил передать, что ваша мечта исполнилась. Разрешите идти?

— Иди! — проговорил подполковник, забыв поблагодарить генерала.

Это произошло за два месяца до Победы, в дебрях левобережной Силезии, когда по черным полям бродили бездомные коровы и зарева далеких пожаров блуждали в ночи, когда в старинных замках под дождем автоматных очередей осыпались каменной пылью геральдические барельефы и в прибрежном иле на Одере разбухали и лопались черные тела разноязычных солдат, когда из крови, грязи и щепня рождались новые государства.

### 13. Двойник Солнца на закате

На огневых позициях гаубичного дивизиона играл духовой оркестр. Кончался душный июльский день, и пропыленная медь оркестра была как само солнце, медленно тонувшее в пыли, неспроста, но неотвратимо опускавшееся за грубые выгоревшие холмы впереди. Что-то было в этом от детской задачи: тусклой рыжей гуашью нарисован золотой круг, разрезан на прихотливые кусочки, нужно их снова составить, приладить друг к другу, чтобы снова возник круг. Этими прихотливыми частями были вычурные трубы оркестра, этим составленным кругом было заходящее солнце. И когда ребята, истомленные тревогой и жаждой, сложили в старом орудийном окопе свои инструменты и они слились в одно пятно посереженного золота, задача оказалась выполненной: огромное солнце нена сытного боевого дня лежало на дне окопа.

Свесив ноги в окоп, сидели вокруг оркестранты. Лениво, зло и устало перебарщивали словами. Не о музыке, не о бое и артиллерийской дуэли, дивившейся сегодня весь день и только недавно затихшей. О горохе и о жарке. Говорили со всеми обычными солдатскими приказками и каламбурами: “Горох — ох! ох!”, “Он старшина — ему смерть не страшна!”, материли вполголоса интендантов и немцев.

Солнце спустилось уже так низко, что наполювину его перерезал контур дальнего черного холма. Вечер приходил в лиловой пыли и золотом сиянье над серой дорогой, сбегавшей с холмов к огненным позициям. На дороге показался конь без всадника. Маленькие облачка пыли поднимались из-под копыт и сливались в пыльную пелену над дорогой. И сквозь эту пелену можно было разглядеть что-то темное, волоочившееся за конем. Оркестранты видели, как уже бежали к дороге, прямо через поле, артиллеристы с позиций, расположенных впереди.

Труп начальника конной разведки пехотного полка пронесли мимо заброшенного орудийного окопа, где на дне лежало огромное солнце этого нена сытного пыльного боевого дня. Мертвого несли на руках взмоಕ್ಕೆ артиллеристы, сзади вели под уздцы коня. Оркестранты стояли на бруствере окопа, молчаливые и серые от пыли. Высокий тонкий сержант — капельмейстер — снял пилотку и сказал на жаргоне всех духовых оркестров:

— Бедный чувак! Не повезло...

Потом, будто его осенило, он бросился от окопа к дороге и остановил тех, кто вел коня. Поговорили минуту. Было слышно только: “...И нам в штаб!” Потом он крикнул оркестру:

— Возьмь инструменты, лабухи!

Через минуту процессия тронулась дальше. Впереди — взмоಕ್ಕೆ артиллеристы с телом убитого начальника конной разведки пехотного полка, за ними — в небольшом отдалении — пропыленный оркестр, несший разобранное по частям тусклое солнце этого боевого дня, сзади оседланый усталый конь.

Звуки печального марша, торжественные, литые из бронзы, падали на последнюю дорогу начальника конной разведки. Солнце уже село за черные холмы. Спиной к закату уходил в лиловой пыли июльского вечера его человеческий двойник.

